



КАК получилось, что творчество Леонида Леонова так долго занимает мой ум и воображение, что давно уже превратилось в сгусток противоречивых, часто не согласных между собою чувств — высоких интересов и личных пристрастий, не отпускающего притяжения и отчаянного сопротивления, которые только и можно назвать судьбой? Ведь, что скрывать, были книги других писателей, которые доставляли иной раз больше радости, в другой раз вызывали к себе куда более гармоничное и понятное отношение, но проходил год, другой, третий, и они отступали бледной тенью, отпускали тебя навсегда. Тут, где восхищение перед обширностью замыслов и виртуозностью слова часто сопровождалось и желанием восстать против иных из них и не согласиться с другими, каждый раз обнаруживалась сила необходимости вернуться к давно знакомым книгам еще и еще раз. Нужно было что-то подумать, касаясь самых общих явлений и процессов; перенести что-то в собственных суждениях о них, сравнить опыт автора этих книг с собственным меняющимся опытом, что-то свое договорить о них. И как в каждой не совсем оконченной судьбе, договорить не удается, не получается...

Не получается прежде всего, конечно, потому, что предмет слишком велик. Леонов — это история нашей литературы на ее шестидесятилетнем протяжении, значит, и вообще наша с вами история, а история — это всегда драма. И попробуй найди ответа на все загадки, возникавшие на пути такой протяженности, развяжи все узлы, завязанные еще нашими дедами, закрученные отцами, а концы которых уже в крошечных пальчиках наших внуков?

Но не получается договорить свое суждение о Леонове и по другим, более личным причинам. Слишком долгие размышления и частые возвраты к книгам одного и того же писателя опасны для критика. Создается неизбежная инерция написанного или только задуманного тобою ране. В то же время подлинность произведения искусства проверяется и изменчивостью его восприятия во времени, когда простое повторение читателем однажды уже пройденного невозможно, как невозможно вступить в одну и ту же текучую воду. Но недвоя же на глазах у всех бесконечно спорить с собой. Однако пишешь ты или не пишешь о предмете, столь давно тобой завладевшем, а спор идет, не отпускает. Это — как мысленный разговор с неким близким человеком: пусть проходят годы молчания или вырастают между вами горы ложных слов, все равно каждый из молчаливых собеседников продолжает через старые ошибки и вины искать

правду о другом, доступную только ему одному — он это твердо знает.

Но с чего начался этот публичный и одновременно безмолвный разговор? Вероятно, с того еще почти детского впечатления от яркой живописи «Барсуков», когда, встретившись с новым писателем, начитанная девочка-подросток почувствовала за леоновскими страницами и не встречавшуюся еще ей новизну, и силу национальной художественной стихии в глубине ее тысячелетних традиций. Она не знала, конечно, этих понятий, но в образах и

и совсем, совсем другое. В давних беседах с писателем пришлось как-то услышать, что для него самого интересен только тот художник, в мире, созданном воображением которого, есть таинственные уголки, заманчивые своими неожиданностями. Таким предстал для меня, уже как критика, мир самого Леонова: его хочется разглядывать подробно, как картины Брейгеля. О, в нем все далеко не просто и не так уж легко откровенно, как уверяет в том даже собственное, открыто публицистическое авторское слово! Тут есть куда загля-

вальное повторение невыдуманной, а данной историей, подсмотренной у нее ситуации, подтверждение через четверть века того же ее этического смысла — и разительный разрыв между средствами художественного его выражения. У Астафьева — предельное, насколько это возможно в литературе, приближение общего к индивидуальному опыту отдельной личности («...мою войну за меня никто не напишет», — говорит Астафьев о планах на будущее). У Леонова — предельное, насколько это возможно в литературе, почти плакатное обобщение массового народного опыта, отвлеченного от единичной личности. И может быть, оттапливание от очень высоких и потому уже холодноватых отвлеченностей многое предопределило в выборе литературного пути нашего, моего военного поколения. Премственность не исключает спора.

Е. СТАРИКОВА

ПРИТЯЖЕНИЕ

сюжетах, рожденных революцией, угадывались и давно любимая десковская игра словом, и краски пленившего глаз Кустодиева, и пряный привкус поэзии начала века.

А позднее, когда прочитаны все книги Леонова, уже совершенно сознательно обнаруживаешь, что этот, по первому знакомству такой яркий, нарядный, легко играющий цветами и звуками писатель, легко мнувший по своей прихоти слово, как податливую глину, вполне последовательно и принципиально идет порой за трагическим Достоевским, даже осмеливается с ним спорить. И пусть об этом леоновском пристрастии у критиков и исследователей будет самые разные мнения. Флигель возле бывшей Марининской больницы, где находится музей-квартира Достоевского, — засвидетельствует, кто из советских писателей самый верный его посетитель.

Но надо же, надо же было такому случиться! Только что решил вопрос о теме твоей диссертации, уже аспиранти серьезного научного учреждения, и тема эта — Леонов, как ты вдруг с Арбата переезжаешь в незнакомое тебе Зарядье, где разыгралась начальная драма «Барсуков» и где в доме деда жил некогда их автор. Еще не угадываются даже в проектах очертающая будущей гостиницы «Россия», еще стоят обдулленными и невидными среди трущоб дивные древние церкви — экзотическое украшение сегодняшнего центра Москвы, еще целая гимназия, где учился в десятых годах Леонов, еще у старых зарядских ремесленников можно услышать речь, напоившую неподдельной народной музыкой первые книги Леонова. И тебе дано это видеть и слышать воочию! Как тут не поверить в судьбу?

Но было в этом постоянном притяжении, в этих возвратах

и над чем надолго задуматься. И вот это, пожалуй, оказалось на многие годы самым притягательным: поиски леоновских загадок, хотя и размноженных многотысячными тиражами, но не утративших от того своей сложности, робкие попытки их разгадывать — в меру своего разумения.

И, наконец, совсем, совсем другое. Когда приходится думать о писателях более поздних поколений, иного жизненного опыта, другого стиля, но также озабоченных в первую очередь общенародными нашими вопросами, нет-нет, да и возникают в памяти ассоциации со знакомыми образами Леонова — поэтически ключевыми, художественно наиболее существенными. Некоторые совпадения удивляют, потому что имеются в виду явления настолько самобытные, единичные, что о подражании не может быть и речи, скорее, она могла бы выйти только об оттапливании от предшествующего опыта. И все-таки...

Когда прочитала впервые в «Последнем поклоне» В. Астафьева, как будущий солдат приезжает в голодную деревню и, сам голодный, принимает из детских рук кружку драгоценного молока с горстой незрелой земляники, как было не вспомнить сцену из «Русского леса»? Там, на некоем железнодорожном полустанке, недавно освобожденном от немцев, такая же прозрачная девочка так же протягивала солдату кружку с самодельным живительным питьем — как привет Родины, как ее скупую благодарность и щедрое благословение. Конечно, так и не так. Конечно, подобные прямые слова, передающие смысл сцены, возможны у Леонова и невозможны у В. Астафьева. В том-то и дело, в том-то и интерес для угадывания путей литературы: почти бук-

Вот в ту же литературу приходит В. Распутин, человек еще одного поколения. И снова, может быть, впервые после знаменитой лекции леоновского Вихрова с такой силой звучит в «Прощании с Матерью» набатный колокол предупреждения о судьбе русского леса, если понимать это выражение как символ органических связей между человеком и природой. И когда читаешь у Распутина о стойком сопротивлении могучего «лиственя», живой опоры живого мира Матери, хищническим покусением человека, как не вспомнить осыпанную снежным серебром сосну, рухнувшую под холодными хищными топорами в «Русском лесу»? И вот что интересно: идя от опыта послевоенной литературы, в частности от задания делового очерка, призванного передать прежде всего точность фактов, случившихся на нашей земле, В. Распутин приходит к образам широкого символического обобщения, то есть на новом историческом уровне снова сближается с поэтикой леоновского стиля. Как объяснить зигзаги этих движений в общем ходе развития литературы? Знаю одно, объяснять их придется.

По слухам, холящим по Москве, Леонид Максимович скоро окончит новый роман. Как всегда, писатель защищает иронией от докучливых распросов. Судя по отрывкам, публиковавшимся в журналах, роман пишется в ключе высокой отвлеченности и смелой фантастики. Войдет ли в этот мир поэтической абстракции житейская проза нашего сегодняшнего бытия, и если войдет, как сплавится она с философским смыслом обобщенного леоновского образа? Но как бы это ни произошло, не удивительно ли, что, живое воплощение истории нашей литературы, Леонов и сегодня обещает новые загадки своему читателю?